

Альберт Лиханов

Голгофа



Альберт Лиханов

Голгофа

1979

Лиханов А.

Голгофа / А. Лиханов — 1979

Герой этой повести – фронтовик, шофер по профессии, списанный после ранения, случайно в гололед сбивает женщину, везущую под гору тележку с хлебом, мать троих детей. Он признан невиновным в трагедии, но судит себя сам, своим высоким судом. Об ошибках (опечатках) в книге можно сообщить по адресу <http://www.fictionbook.org/forum/viewtopic.php?t=3166>. Ошибки будут исправлены и обновленный вариант появится в библиотеках.

Содержание

Глава первая	5
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Альберт Лиханов

Голгофа

*Посвящаю Анне Ивановне Зыкиной, бабушке моей жены,
сохранившей в тяжкие годы войны трех своих внушек.*

Автор

*Горе горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело.
Н. А. Некрасов*

Глава первая

Раненый

Он отшатнулся, уперся спиной в госпитальную дверь – словно захлебнулся прозрачным воздухом, настоящим пряностями увядшей травы, и солнце ослепило его, такое не по-осеннему яркое, бьющее в упор, – и он отшатнулся, будто и свежий воздух этот, и солнце толкнули его назад, в полумрак госпитальной палаты, в коридор, пахнувший щами и хлоркой, и от него требовалось усилие – не так-то просто выйти на волю! – требовалось усилие, чтобы преодолеть этот толчок, это сопротивление света и свежести и только тогда по праву вступить в забытый мир.

Он улыбнулся, ощущая кожей лица ласку этого странного сопротивления, улыбнулся блаженно, предчувствуя небывалое счастье, и словно кинулся в воду с громадной высоты: вновь глубоко вздохнул и снова открыл глаза.

Все существо его содрогнулось от такого простого и такого забытого желания: жить. Что-то словно ворвалось в его вены, какая-то бесовская, веселящая страсть, и кровь от этого, кажется, вскипела, подкатывая к вискам тугими, тягучими ударами, и все, что было, оказалось за спиной, вдруг покрылось какой-то туманной дымкой, стало несущественным, неважным, и только то, что сейчас, и то, что станет с ним дальше, было важным и интересным.

Единственное – что станет.

Алексей шагнул вперед, и его качнуло. Он улыбнулся еще и снова двинулся – пять шагов по бетонной площадке перед госпитальной дверью и десять шагов по ступенькам. Внизу, на последней приступке, он сел, утишая клекот сердца и глухие удары крови в висках.

Перед ним был деревянный сарай, изъеденный до черноты дождями, снегом и солнцем, слева висели на петлях похожие на крылья усталой птицы госпитальные ворота, а дальше виднелась улица – булыжная мостовая с промоинами коричневых луж, деревянные тротуары и дома – рубленые, совсем деревенские на вид; городок напоминал громадную деревню, и этот вид нравился Алексею.

Еще в госпитале, с высоты третьего этажа бывшей школы оглядывая узкие улочки городка, в который занесла его судьба, Алексей не раз думал, что таким городкам воевать было все же легче, чем, скажем, Ленинграду. Здесь было мало каменных громадин, самостоятельных и надменных лишь на первый взгляд, а на самом деле уязвимых, неуютных, делавших людей своими жертвами и узниками.

Там, в Ленинграде, замерзала вода зимой – люди ходили к проруби на реку, замерзало паровое отопление – люди умирали от холода и жгли в «буржуйках» мебель, у кого, конечно, она еще была. Замерзала канализация – и начинались болезни.

А вот такие городки, как этот, переносили войну легче все-таки, что ни говори. Печка в каждом доме, вода в колонке или колодце, и не за тридевять земель, а поблизости, ну и до ветру в дощатое сооружение, которое при каждом дворе, – попросту, без удобств, но надежно и понятно. Ежели дров нет – заборов в городе немало, да и при каждом деревянном доме – в сарайке где-нибудь, забытое с довоенных пор, всегда есть что-то способное гореть в печи. Ну и леса возле таких деревянных городов тоже имеются, они и спасают...

Да, многое переменялось в мире с тех пор, как началась война. Сдвинулось. До войны в каменных домах жить считалось почетом, а в войну побежали люди из тех каменных хором в деревянные халупы. И это только частица разных перемен, частица...

Алексей встрепнулся: сзади хлопнула дверь, на площадке появилась тетя Груня. Торопливо додумывая начатое, он сказал себе еще раз, что поступает правильно, оставаясь в этом городке, потому что, кроме всего прочего, городок этот какой-то теплый. Видно, от деревянных своих домов, что ли... Теплый не изнутри, а именно что снаружи – треснувшие бревна походят на морщины человеческих лиц, а потемневшие кольца срезов на торцах бревен, и похожие на глаза окна, и наличники, все больше резные, узорчатые, и коньки крыш, то прямые, натянутые как струны, то прогнувшиеся, будто спины старых собак, – все это живое, теплое, дышащее.

– Айда, – просто сказала тетя Груня.

Алексей поднялся и двинулся рядом с ней, сжимая за горловину вещмешок с недельным пайком.

– Констервов дали? – спросила тетя Груня и, когда Алексей кивнул, заговорила, округляя слова, будто сказку ему рассказывала или баюкала, ко сну склоняя. – Поменяем, вот-ка, констервы энти на одежду какую, а одежку какую поменяем у крестьян на овес, а овес проростам до зеленых росточков да и сварим вырост энтот в отвар, вот и будет ладом, зарастут твои раны, ныть перестанут, окрепнешь и дальше жить станешь.

Алексей кивал в такт тети Груниным словам, соглашался с ней, зная наизусть ее речь, и чувствовал, как несет его по течению жизни, и с течением был согласен, доверял себя струе этой, несильной, но уверенной, зовущей, чего-то обещающей. И слова тети Груни, сердобольной госпитальной вахтерши, ощущал тоже как часть этой струи, этого течения, влекущего его вперед, в новое начало – смутное, но открывающее перемены, да что там – уже и дающее... вот хотя бы дающее этот воздух пронзительно прозрачный, облегчающий, и солнце, быющее в упор, и булыжник, издающий под сапогами глухой постук, и лужи с густой грязной водой поздней осени, и кленовый лист – багровый, с желтыми отметинами, и запах прелой травы, врывающийся в легкие...

Алексей вскинул голову, физически ощущая, как силы вливаются в него, и увидел гуще небо с седыми перьями легких облаков.

Он вздрогнул и замедлил шаг.

Тогда тоже плыли по небу такие же по-весеннему легкие облака, только была зима... Зима, а теперь осень – вот насколько выбило его из жизни и могло бы выбить навовсе, могло бы вычеркнуть из списков живых тем зимним днем...

Алексю Пряхину стукнуло сорок лет, когда ему выдали шинель, а в части, куда он прибыл, – полуторку.

Был Алексей одинок и немолод, с первых дней войны готовил себя к худшему без особого беспокойства: ни плакать, ни горевать по нему некому, и если уж выдастся доля, уготованная многим, надо принять ее как подобает принять судьбу – без ропота и стога. Так ему казалось тогда. А казалось, пожалуй, потому, что готовил он себя к худшему – к моментальной и легкой смерти, а такую смерть одинокому человеку принять легче – схоронили, и все! Некому плакать!

Но, оказалось, худшее не всегда худшее, а гораздо страшней страдания на полдороге между жизнью и смертью, «фифти-фифти», как выражался выздоравливающий сосед-балагур, половина на половину, когда никто не знает, куда тебя отнесет – к тому или этому берегу, даже

врачи, когда маешься, плача от боли, когда о смерти молишь бога как об избавлении от всех страданий, – вот тогда по-настоящему понимаешь, что худшее не всегда худшее.

Многие приплывали к своему концу, отмучившись несколько месяцев, надеясь, что выберутся, цепляясь за соломинки надежд, – зачем же эти надежды, зачем обманы судьбы, если все равно смерть?..

Так вот Алексею выдали полуторку, машину загрузили снарядами, и колонна пошла к Новгороду. Пряхин объезжал черные остовы сгоревших машин, следил за впереди идущим грузовиком, который то и дело скрывал неожиданный в январе волглый туман.

Погоду для рейсов старались выбирать похуже, нелетную, и до Новгорода по туману прошли нормально; по туману же вышли обратно, но на полпути дунул сильный ветер, туман как языком слизнуло, и небо очистилось.

По нему шли легкие перьевые облака, плыли странной цепочкой, напоминая ожерелье, и тут из-под того ожерелья выплыли черные точки, превратились в самолеты. Алексею показалось, что он гонит машину не по тверди, а по воде: земля от бомбовых разрывов заколебалась и заходила ходуном.

О зимних бомбежках среди шоферов ходили тяжелые слухи – ведь в сторону с зимника не свернешь, – и Пряхин, знавший их, поначалу, в первое мгновение, подумал, что слухи эти, как всегда бывает в таких случаях, все-таки преувеличены. Земля качалась, но прицелиться, с высоты по узкой дороге было тоже непросто, и бомбы, взметая снег, ложились по сторонам, а колонна неслась вперед.

Но потом бомба угодила в одну из машин, идущих впереди, колонна остановилась, и тут их обложили кольцом разрывов.

Слева от машины Алексея взлетел снежный гейзер, а бомбовые осколки просадили дверцу и вонзились ему в живот.

Счастье, что в кузове не было людей, на этот раз погрузили ящики с пустыми артиллерийскими гильзами – счастье, что не было людей, это нельзя представить, окажись в кузове люди...

Машина дымила. Алексей исходил кровью и левой рукой пытался открыть дверь. Ее заклинило. Тогда он нашел силы перебраться на правое сиденье и вывалиться в снег.

Последнее, что он помнил: правая дверь открылась, и он увидел красный снег.

Его заметили в этой заварушке, подобрали, закинули в кузов шедшей следом полуторки, но бог миловал, осколки не тронули его больше, и врачам удалось Алексея спасти. Но та первая операция была, как оказалось, только началом – в санитарном поезде Алексея оперировали второй раз, а третий – в этом городке, без всякой, в общем, надежды.

Когда его резали первый раз, это было все же естественно. Но потом... Вся его жизнь потом превратилась в сплошную боль – боль днем, боль ночью, боль всегда. Иногда он забывался, но даже в забытии ему было больно, и он приходил в себя все от той же боли, и тогда его окружали врачи, щупали живот, советовались, приглушая голоса, впрочем, голоса они могли бы и не приглушать – Пряхин едва ли слышал половину их слов, пробивавшихся сквозь боль к его сознанию, а потом его снова везли на каталке в перевязочную, и он снова содрогался от боли, которую доставляли всему его телу четыре скрипучих колесика этой проклятой каталки.

Рядом с ним – в полевом госпитале, в санитарном поезде, здесь, в тыловой палате, – мучились такие же, как он, бедолаги, мучились, перенося боль, цепляясь за малую надежду, и их уносили потом, укрыв с головой простынями, не дождавшихся своих надежд, мучившихся напрасно, в этом положении «фифти-фифти», половину на половину, когда до жизни так же близко, как и до конца, и так же далеко тоже... Рядом с ним умирали мужики помоложе, да, пожалуй, и покрепче, к жизни рвавшиеся всей душой и всеми своими силами, – у них были близкие, дорогие люди, было для кого стараться, а вот выбрался он, Пряхин, хотя стараться ему было не для кого...

Разве вот тетя Груня.

Она возникла перед взглядом Алексея как-то вечером, в час бешеного приступа его боли, и мимо не прошла, задержалась. Это уж потом узнал Пряхин, что работает тетя Груня не санитаркой, не медсестрой, а вахтершей, сидит при входе, а после смены обходит госпитальные палаты, чтобы кому водички подать, кому подоткнуть холодное суконное одеяльце, хотя никто ее об этом не просил. Только разве надо просить, когда война, когда люди нуждаются в сострадании больше, чем в хлебе; и неграмотная старуха бродила вечерами между коек, не брезгуя «утку» подать, взбивая подушки, кладя компрессы на жаром пышущие лбы и приговаривая, приговаривая какие-то словечки, то ли убаюкивая ими, то ли сказку какую волшебную рассказывая.

Вот так же вошла она в Алексеев взгляд, в его расширенные болью зрачки.

За спиной тети Груни была лампочка на длинном шнуре под простой железной тарелкой, которая хоть и служила абажуром, но тени не давала, – и в первый раз старуха возникла перед Алексеем в розовом нимбе, заслонив головой лампочку.

«Вот уж и святая!» – подумал Алексей, а святая приложила ладошку к щеке, как-то удобно облокотилась, постояла минуточку, вздохнула и наклонилась к Пряхину, неожиданно сильно, но аккуратно приподняла одной рукой его голову, а другой взбила подушку.

Каждый день после дежурства усаживалась теперь тетя Груня на табурет возле Алексея, смачивала уголок полотенца ссохшиеся, запекшиеся его губы, обтирала лицо, подносила водички, гладила его холодную, неживую руку и приговаривала, приговаривала, не жалея слов, мягких, как хорошая повязка:

– Ох ты золотко, солдатик, Алешенька, да што ты маешься, пронеси господь, третью операцию сделали вить удачно, сам прохессор, бают, зашивал, а раз прохессор, все в порядке будет, глянь-ко, яблочко тебе я принесла, бочок золотой, другой розовый, все кончается, не горюй, вот и боль твоя кончится, изойдет вся до капельки, солнышко-колоколнышко взойдет, зачнется в тебе новый свет, новая заря.

И гладила она и гладила Алексея по холодной руке и добила-таки своего. Рука порозовела, стала теплой, и однажды Пряхин посмотрел на тетю Груню осознанно и заплакал.

Видно, так уж устроен человек, что, когда ему трудно – он держится, все в себе мобилизует, все свои силы – душевные и физические. А минует это «фифти-фифти», минует половина на половину, когда до смерти так же близко, как и до жизни, когда жизнь свою половинку увеличит, да смерть отступать начнет – тут срывается человек. Даже сильный.

Немолод был Алексей Пряхин, какая же молодость в сорок лет, и прожил непростую, нелегкую жизнь он до этого своего личного дня победы, и не слабый вроде мужик был, а сорвался, что-то лопнуло в нем, какая-то зацепка, какая-то нить, державшая запоры, и заплакал он от слов тети Груни, вроде бы глупеньких, необязательных, простых словечек.

И она заплакала также. Только ее слезы легкие были. Знала тетя Груня, что своего добила, что теперь выживет это желтый, как покойник, солдат, выживет, потому что боль свою победил, потому что «прохессор» оказался удачливым, и еще заплакала она оттого, что муж ее и сын – оба на фронте, и давно весточки не шлют, и, гляди-ка, вдруг вот так же, как этот бедолага Алексей Пряхин, в госпитале где-нибудь маются, вот так же страдая и мучаясь... Как же могла она, мать и жена, не ходить в палаты после дежурства, как могла не приговаривать своих глупых слов, как могла не помочь Алексею?

Тети Грунин домик был невелик, но рублен в лапу, а оттого на вид коренаст и прочен. За окнами голубели чистенькие занавески, а когда Алексей вошел в дом, весь он оказался под стать занавескам – чистенький и уютный: при входе сундук, застланный холщовой стираной тряпицей, между окон комод, укрытый кружевной дорожкой, на кровати гора подушек – мал мала меньше, под столом домотканый половик.

В углу за занавеской вроде отдельной комнатки, четыре шага на два, и тетя Груня кивнула на нее:

– Вон твоя кельюшка.

– Тетя Груня, как с тобой рассчитывать-то стану? – улыбнулся Пряхин. – Каким златом-серебром?

– И-и, милай, – ответила тетя Груня сердито. – Кабы люди за все друг с дружкой рассчитывать принялись, весь бы мир в магазин превратили. А! Борони нас бог от этого магазина! – Она платок размотала, присела на сундучок и прибавила серьезно: – Тогда уж добро изничтожится! Не станет его.

– Почему? – удивился Алексей.

Тетя Груня строго на него поглядела.

– Потому как добро без корысти. Аль не знал?

Алексей головой покачал, крикнул с досады, что завел неловкий разговор. В тяжелое время она перед ним возникла, в небескорыстное время, уж он-то знает, а ведь вот возникла же с нимбом над головой, хоть и от электрической лампочки.

А что? Не святая? Последним ломтем поделиться готова, к себе привела одинокого солдата – и вон занавесочка в углу: отойди, поживи, попей отвару из овсяного пророста.

Пряхин прошел к комоду, взглянул в зеркало. Тяжелых раненых брил в госпитале парикмахер, и давненько Алексей не видал себя вблизи. Сорок лет, а уже старик, хотя волос еще густ, но побит инеем, а виски уж совсем белы, да ладно, ладно, грех горевать, коли выбрался из такой беды, такой боли.

– Тетя Груня! – сказал весело, комнатку обходя. – Чего тебе подвезти по хозяйству? Дровишек, может? Я ведь шофером пойду – подскажи только, где требуются.

– Да где не требуются! А идти надобно на военный завод, потому как нужна рабочая карточка, там и хлеб, и жиры, а жиры тебе сейчас, касатик, во как нужны.

Пряхин облокотился о стол, взял голову руками.

– И то, тетя Груня, – ответил, подумав, – на военный завод один путь, коли уж списали меня подчистую. Совесть ведь заест после войны-то, а? Все воевали – кто жив, кто погиб, один я только и сделал, что проехал рейс до Новгорода да полдороги обратно. Сказать-то стыдно будет, что воевал. Куда же мне, как не на военный?

Все эти месяцы, пока лежал он в госпитале, пока страдания и боль терзали его тело и душу, только в редкие минуты приходила к Алексею эта мысль: повоевать-то ведь не успел! Жалел, что коли помрет, то вроде бы и зазря, не укокошив ни одного фрица, да что там – не увидев ни одного.

Война как бы обходила его, отталкивала от себя, что ли... Поначалу оградила броней, а когда добился своего – вывела с круга в первом же рейсе.

Теперь, спустя много месяцев, пройдя сквозь боль, Алексей испытывал странное удовлетворение. Все-таки он прав, что своего добился, хоть и с отступлением и с трусостью – да, да, теперь можно назвать все своими именами. Чем же, как не трусостью, были робкие его попытки уйти на фронт?

Дело в том, что до войны Алексей возил важного человека на новенькой «эмке» – Ивана Федоровича. Начальник Пряхина командовал серьезным отделом в наркомате, имевшем отношение к обороне, а потому, как только настала война, не спрашивая Алексея, наложил на него броню.

Уходили на фронт соседи, знакомые, товарищи, а Пряхин ездил с Иваном Федоровичем, и, хотя работы было много, он дежурил один, без сменщика, чуть не каждую ночь спал в гараже, ожидая в любую секунду вызова, все-таки он был обыкновенным тыловым отиралой, тыловой крысой, как звали тогда тех, кто правдами или неправдами уклонялся от фронта.

Алексей однажды заикнулся Ивану Федоровичу про то, что чувствует себя по-дурачки, но тот, добрый в общем-то мужик, выпучил глаза, заорал про воинскую дисциплину в наркомате, про то, что Пряхин является отбывающим воинскую службу, что ему, Алексею, доверено быть важным винтиком в правительственном аппарате, и Алексей сробел, вытянулся перед Иваном Федоровичем. Смолчал.

Война катилась мимо Алексея, а он возил Ивана Федоровича и, когда тот убывал в командировки, возил других начальников – неразговорчивых и угрюмых, как и его «хозяин», чуть ли не совсем уж перебрался в гараж, только здесь чувствуя себя человеком и лишь редко-редко забегая домой.

Когда он шел домой, на улице и дома, в коммуналке, ноги казались ему деревянными. Он стучал ими громко, грохотал сапогами, коря себя за эту неловкость, а оттого становился еще более неловким.

На улице, а дома уже точно, он ловил на себе взгляды женщин не то чтобы осуждающие, но какие-то холодные, скользкие по нему, точно он предмет, вещь какая-то, а не человек.

Ну там, на улице, поди разбери, кто ты такой, а уж в квартире-то все отлично знали, кто есть Алексей Пряхин. Шофер в наркомате. Ведь не нарком. Значит, отирало, тыловая крыса, вот кто...

До войны коридор коммунальной квартиры, где жил Пряхин, всегда был оживленно шумным. Вдоль узкого прохода, у огромного старинного окна стояли столики и тумбочки, составившие длинный-длинный стол, и на этих тумбочках и столиках, выстроившись неровной штатской шеренгой, обретался с десятков примусов, и наставляли часы, когда все эти примусы сипели бодрыми голосами, выбрасывали синие огоньки, а на каждом дымились кастрюля или щелкала сковорода горячим маслом.

Когда началась война, примусов поубавилось – кто эвакуировался, кто готовил себе на плитке прямо в комнате, коридор приумолк, женщин в нем толкалось мало. Но все равно они были хорошие, Алексеевы соседки, только вот глядели они теперь на него не по-хорошему, не то что до войны, когда он был гордостью квартиры в своей кожаной скрипучей униформе. И Алексей проходил мимо, коротко, сдержанно здороваясь и убыстряя шаг.

Особенно после того случая.

Его остановила самая добрая, самая интеллигентная среди всех соседок – учительница Мария Сергеевна. Алексей почти месяц не был дома, заскочил на минуту по какой-то надобности, она схватила его за рукав у своей керосинки.

Алексей остановился, неуверенно улыбаясь, кивая старушке. А она неожиданно спросила, часто мигая:

– Я получила похоронку на сына, на Сережу, да, да, – и, не дав ему посочувствовать, не дав ему просто опомниться, без перехода спросила: – Он погиб на фронте, это понятно, все-таки война, а вот вы почему здесь? Вы почему?

Всю эту фразу, сообщение это и этот вопрос она сказала очень тихим шепотом, точно даже и не сказала вовсе, а громко подумала. Алексею пришлось даже напрягаться, чтобы услышать ее, но ему показалось, будто Мария Сергеевна прокричала свои слова.

Он стоял перед ней, сначала глядя ей в глаза, еще по инерции глядя, потом опустив взгляд.

Затем двинулся к выходу.

Что он мог ответить? Проговорить несколько слов, повторить то, что сказал Иван Федорович? Но это был бы пустой звук для Марии Сергеевны. У нее – Сережа... А он – здесь...

В тот же день Алексей снова обратился к Ивану Федоровичу, начальник кричал опять, но теперь Пряхина еще вызвали в кадры, и тамошний начальник кричал ему тоже о дисциплине военного времени, о том, что наркомат приравнен к воинскому подразделению, и даже о трибунале.

Несмотря на крик, Алексей подал начальнику кадров заявление. Но тот закричал еще пуще, даже затопал ногами и бумагу порвал прямо на глазах у Пряхина.

– Не имеете права! – выдавил из себя Алексей и вышел.

– Имею! – крикнул ему вслед начальник.

Вначале Пряхин хотел снова писать заявление, но ему отсоветовал шофер наркома, худой, туберкулезный мужик.

– Будут неприятности, – сказал он. И добавил подумав: – Ты же знаешь, где мы.

Алексей сник, еще больше ушел в себя, ругая за нерешительность, за трусость, в конце концов. Все воют, а он... Тыловая крыса... Отирало.

Все ниже держал Пряхин голову, все реже появлялся на улице пешком, домой перестал заходить вовсе, да и характер у него резко переменялся. Раньше с Иваном Федоровичем переговаривался, обсуждал то или другое, конечно, о событиях на фронте говорили, а тут начались салюты, и он совсем сваял: пройдет война без него.

Ездили они множество – и по Москве, и в недалекие, и даже в дальние города. И вот однажды в такой поездке произошло у Алексея с Иваном Федоровичем решительное объяснение. Они свернули с дороги, остановились подкрепиться, Иван Федорович принял по маленькой и, видно, чтоб развеселить своего водителя, начал советовать ему поскорей жениться.

– Мужики на войне, Алеха, баб свободных пруд пруди.

Алексей задумался. Впрочем, это Ивану Федоровичу только показалось, что он задумался. Просто Алексей собирал слова, а заодно успокаивал себя, чтобы не брякнуть начальнику непотребного.

– Вот видите, – сказал он, – даже вы меня перестали уважать.

– Ты это чего, Алексей? – вскинулся, не понимая, начальник.

– Да я и сам на себя плюнул, – махнул рукой Алексей. – Война мимо меня катится, а я за вами, выходит, отсиделся.

Иван Федорович открыл рот, чтобы что-то сказать, но смолчал. Потом проговорил:

– Прости, Алексей, уж больно ты угрюм, хотел пошутить, да по-дурачки вышло. Прости.

Пряхин отвернулся в сторону и, не глядя Ивану Федоровичу в глаза, сказал:

– Отпустите на фронт.

Алексей чувствовал, знал точно, что Иван Федорович вскинул кустистые брови, разглядывает его внимательно, но молчит.

– Не могу я больше, – сказал Алексей хрипло.

Тот все молчал, и Пряхин вспомнил, как еще в первый раз, накричавшись, Иван Федорович сказал ему неожиданно спокойно, словно и не волновался и не кричал только что: «А кроме того, жалко тебя, Пряхин, ты ведь как перст одинокий, сгинешь, и поплакать будет некому». – «Ну и хорошо!» – воскликнул Алексей, но начальник опять заорал: «От-ставить разговоры!» Вот он такой, Иван Федорович, старый рубака, комполка Первой Конной, – то кричит, то жалеет, то вот молчит, как теперь...

Иван Федорович глотнул, крякнул, верно, выпил и, еще помолчав, буркнул сердито:

– Давай.

Алексей обернулся, теперь уже он разглядывал начальника, ловил его взгляд, хотел слово какое-нибудь придумать, но Иван Федорович сердито жевал колбасу и старательно отворачивался.

Через несколько дней, когда прощались, начальник облапил его, прижал сильно к кожаному наркоматовскому пальто и сказал:

– Давай, Алешка, за двоих! Я ведь тоже...

«За двоих!» Пряхин вспомнил слова эти, сказанные дрогнувшим голосом, и криво усмехнулся. Хоть бы за одного... Убил хоть одного фрица? Шел в атаку? Спас товарища? Сделал хоть что-нибудь стоящее там, на войне?

Пришел на фронт в январе сорок четвертого, при первой же бомбежке залетел под бомбу, еле выскребся на белый свет и вот теперь спрятался за добрую тетю Груню, за свою спасительницу...

«Давай, Алешка!»

Хреновый из него вояка вышел, что и говорить. Встреть он Ивана Федоровича, и объяснить нечего. Ну да ладно. Разве лучше, если бы отсиделся в наркомате? И так стыдобушки хлебнул. Так что ранение свое рассматривал Алексей как наказание за нерешительность, за трусость.

Измученно приходя в себя, Алексей оглядел голубые занавески на окнах, чистый крашеный пол, покачал головой, разглядывая тетю Груню.

– Чего, голубок, затуманился? – улыбнулась тетя Груня, наливая в стаканы кипяток. – Иль зазноба вспомнилась? Ай, расскажи! Никогда мы про жизнь твою не балакали, сказал только, что бобыль, а как же так – немолодой да одинокий? Иль беда какая случилась, так скажи, поплачь, как тогда, в первый раз, гляди полегчает. – Алексей улыбнулся.

– Ну, тетя Груня, и мастерица ты уговаривать да приговаривать! А балакать тут долго нечего. Была жена-то, была. Да сплыла. К другому сбежала, до войны еще. Ну и бог с ней!

Тетя Груня качнула головой, глаза прикрыла – стала похожа на грустную птицу.

– Не пожалела, значит, тебя, себя пожалела.

– Откуда ты знаешь? – встрепенулся Алексей.

– И-и, милай, – усмехнулась тетя Груня, – тут и знать нечего, все люди на две половинки делятся – на тех, кто себя жалеет, да на тех, кто жалеет других... Пей чаек-то! С калинкой!

Алексей пил чай, вглядывался в свое отражение на медном чайнике и снова чувствовал то, что было с ним днем: минувшее как бы отступает, становится незначительным, и тело наполняется новым желанием жить дальше, начать все снова, пусть вокруг война, пусть горе и беда еще носятся по улицам. Его-то они уже зацепили, и нечего им больше делать в его судьбе.

Ну ведь может же, может начаться все снова, сначала! И не в Москве, где есть у него комната и в той комнате все его минувшее, а в этом дальнем городке, деревянном, теплом, с доброй тетей Груней-спасительницей.

Может же стать так, что жизнь, отмеренная ему без удач, очень просто и незаметно отчеркнется жирной чертой, а дальше все будет другим – хорошим, ярким, светлым.

А то, прошлое, – Москва, неудачная женитьба и побег жены, больно ранивший сердце, служба шофером у хорошего человека Ивана Федоровича, стыд за то, что он не на фронте, бомба и страдания – все это только первая попытка: ничем не замечательная, средняя, – но ведь первая же, только первая!

Над синей занавеской загустело сумеречное небо, и они сравнялись цветом – занавеска и воздух за окном.

Алексеем захотелось запеть или крикнуть во весь голос, и он едва сдержался, поглядел озорным взглядом на тетю Груню и засмеялся, захохотал, обнажив крепкие, сильные зубы.

– Ты чего, соколик? – вскинула брови тетя Груня.

– Да так!.. Ничего... Просто так!.. – ответил он, смеясь.

А все-таки растревожила тетя Груня Пряхина, зацепила словами своими.

Пока говорили, чай пили – ничего не чувствовал он, а лег на прохладную простыню, утопил голову в пуховой подушке, и забытое, вычеркнутое из жизни в глаза к нему заглянуло, из тьмы выступило.

Была у него жена, была. И сам он во всем виноват.

Когда взяли его в наркомат к Ивану Федоровичу, какая-то командировка выпала им в сторону родного селца Алексея, и начальник отпустил Пряхина на сутки проведать родных, пока он будет разбираться со своими делами в ближнем городе. Вот Алексей и явился – на

новой «эмке» и во всем кожаном – хромовые сапоги московского пошива, кожаные штаны, куртка, краги, сверкающие на солнце. Фуражка, и та кожаная.

Отец тогда еще долго признать его не мог, стоял в воротах во фрунт – думал, начальство какое подкатило. Этот его приезд и теперь, поди-ка, в селе помнят – все, почитай, у дома ихнего побывали. «Эмку» щупали, а заодно и его, Алексея, потому что блистал он своей кожей навряде «эмки». Вот тогда и заметил он глазастую Зинаиду.

Как у них тогда все вышло, и не вспомнишь, закрутилось колесом: днем познакомились – Зинаида руку лодочкой церемонно протянула, вечером целовались взахлеб, будто после дальнего перегона до речки добрались, а ночью, в баньке, довели начатое до конца – все как во хмелю, в сумасшествии... Через сутки вернулся Алексей к Ивану Федоровичу, еще через сутки прибыл домой, а в коридоре коммунальной квартиры уже сидит Зинка: сбежала из дому к нему.

Не зря, видно, говорят: как новогоднюю ночь встретишь, так и весь год проживешь. Первая ночь, хотя и не новогодняя, выпала Алексею с Зинаидой заполошная, бестолковая – так они и жизнь общую прожили.

Поперву обнимались, миловались, Зинка на Москву таращилась, в метро часами каталась. Алексей с работы придет, а хозяйки дома нет. Явится. «Где была?» – «На метро ездила!» Алексей не злился, смеялся: «Молода больно ты!» Зинаида обижалась, надувала губы, но быстро отходила, снова принимались они за любовь – неумоимо, ненасытно.

И вдруг Зинке Москва разонравилась. Метро надоело. И любовь Алексеева вместе с метро. Стала приставать: «Айда на Магнитку! Или на Кузнецкстрой!» Он отмахивался: «Дура! Люди в Москву рвутся, а ты из Москвы». Зинка поскущела, даже круглые глаза ее вроде меньше сделались. Не углядел за работой Алексей, когда Зинаида мимо него мелькнула. Пришел однажды домой – стол праздничной скатертью накрыт, а Зинаида в комнате не одна, сидит битюг белобрысый, глаза синими блюдцами, как у нее. Вино красное в три рюмочки разлито, но до него не пили.

– Познакомься, – говорит Зинаида. – Это Петро, тоже водитель. Мы с ним в Кузнецк едем, а ты, Алексей, не обижайся. Прощевай.

Сперва Пряхин хотел в драку полезть, осатанел от злобы и от такого бесстыдства, но что-то в нем дрогнуло, он сдержался, подошел к двери, открыл ее:

– Скатертью дорога!

– Зря, – сказала Зинаида, – мы хотели по-хорошему. Вон и вино купили.

Они прошли по коридору коммунальной квартиры под взглядами любопытных жильцов и исчезли из его сердца и его памяти. Так, по крайней мере, казалось Пряхину.

Да так оно и стало в конце концов, только прошло до окончательного исчезновения Зинаиды из сердца Пряхина, как у каждого мужика в таких случаях, немало времени. Пришел он к выводу, что это «эмка» и кожаное обмундирование сильно подействовали на молодую Зинку, на самом же деле ничего в душе ее к нему, Алексею, не было. Вот и весь сказ.

Мучительно пережив эту драму, Пряхин дал себе слово никогда к ней не возвращаться, не вспоминать о Зинаиде, не думать ни при каких обстоятельствах – остался в его душе только шрам да в паспорте штампик химическими чернилами.

И, твердо дав себе слово не возвращаться к этому прошлому, Алексей так и жил, если бы не тетя Груня с ее расспросами...

Пряхин шуранул кулаком подушку, глубоко вздохнул, решив спать, но тут ему пришла в голову занятная мысль.

А что, если, подумал он, тетя Груня не просто так про жену спросила? Что, если хотела она навести его мысли на женщин – ведь может же быть такая военная бабья хитрость или нет?

Сперва больной думает, как бы выжить, как бы выкарабкаться, потом – как бы попить да поесть, а уж потом и о женщине не грех поразмыслить. И, нарушив свое правило, свое твердое слово, неожиданно простив Зинке ее подлое предательство, вспомнил Алексей не последний

горький час, а первый: баньку, ядреное Зинкино тело, белеющее в темноте, ее вкусный рот, дышащий жаром, и свою мужичью дрожь...

Он крутанулся на другой бок, хихикнул глупо, приказал себе закрыть глаза и глубоко дышать.

«А что, – подумал Алексей, засыпая, – тетя Груня права: не так уж сложно устроен человек...»

И еще об одном вновь подумал он, засыпая.

О том, что желание остаться в этом городке не случайно. В сорок лет начинать непросто. Но он начнет.

Попробует все сызнова.

Неделю – трижды в день – Алексей пил по стакану отвара, изготовленного тетей Груней из невесты откуда взявшейся сырой пшеницы. Жижица была мутноватая, безвкусная, клейковатая, и угощение это радости не доставляло, но уже через неделю Пряхин ощущал себя совсем не таким, как в день выписки из госпиталя. По утрам, отцепив ремень, он махал топором, рубил дрова – сначала понемногу, потом побольше и, намахавшись, прислушивался к себе, к тому, что внутри. Странное дело, никакие боли, даже самые слабенькие, не трогали его. Будто склеила его накрепко своим отваром добрая тетя Груня.

В перерывах между колкой дров Алексей наведывался в отдел кадров военного завода – заполнял бумажки, приносил недостававшие документы и через неделю был зачислен водителем в транспортный цех.

Кадровик, однорукий молодой парень, сказал ему, усмехаясь, что в транспортном цехе на балансе шестьдесят лошадей и столько же подвод, двадцать газогенераторных машин с десятком пыльщиков чурок для них, а кадры почти сплошь женского рода – мужиков только четверо: два старика да двое после ранений, годные к управлению машиной.

– Старики не в счет, так что посылаем тебя в качестве бутона на клумбу, – усмехнулся парень. – Гляди берегись.

Насчет того, чтоб беречься, Алексей поначалу не понял. Разобрался в этом через полчаса, когда вошел с направлением в контору транспортного цеха.

Открыв дверь, Пряхин от неожиданности попятился – на него колыхнулась стена густого дыма и визгливый многоголосый крик, который на мгновение стих, но когда он переступил порог и сморщился, непривычный к табачному дыму, конторка грохнула хохотом.

Слезаящими от махорочного дыма глазами он разглядывал темноватое помещенье и все больше смущался – впрямь попал в самый центр клумбы: вдоль стен на лавках сидели одни бабы. Старые и молодые, они в упор разглядывали его, и под этими взглядами он растерялся вконец и произнес неуверенно:

– Мне товарища Сахно.

Его оглушил новый взрыв смеха, а потом из угла послышалась певучая, нежная речь:

– Так я и есть Сахно!

Из-за столика ему улыбалась чернобровая молодайка с нездоровым румянцем на щеках. Алексей подошел к ней, протянул бумагу, а спина у него прямо-таки дымилась от бабьих взглядов. Он отвечал на какие-то вопросы начальницы транспортного цеха, спрашивал о машине, о ее состоянии, а сам был как бы раздираем на запчасти этими цепкими взглядами за спиной. И вдруг он услышал разговор...

Это не был разговор двоих или троих – говорили, кажется, все, кто сидел за спиной, – все разом, хором, и не было в этой речи фразы, сказанной без отборного мужичьего мата. Пряхин вспомнил слово, оброненное одноруким парнем в отделе кадров, и слово это – берегись! – отдалось в нем болью и непониманием.

Мгновенно, словно трезвея после похмелья, Алексей обернулся к женщинам, сидевшим возле стен, и с тоской удивленного, не привыкшего к такому обороту дела человека спросил:

– Что с вами, женщины?

Сзади, за спиной, стукнули каблуки, чернобровая начальница цеха обошла Алексея, приблизилась к окну, распахнула створки, дым, как вода, потек струей на улицу, и в наступившей тишине Алексей услышал сиплый, простуженный голос:

– А ты похлебай с наше!

Что-то в этом голосе показалось Пряхину сладко-знакомым, он взгляделся в худое лицо, по самые брови повязанное платком, и колени у него подогнулись.

– Господи! Зинаида! – скорее выдохнул, чем произнес Алексей, и снова, как тогда, когда пересек он госпитальный порог, что-то толкнуло его к стенке, словно это сопротивлялась сама судьба его попытке начать все сначала.

Мгновение тишины оборвалось, женщины снова наперегонки заматюкались, защелкали зажигалками, задымили «козьми ножками», а начальница цеха, сменив певучий голос свой на резкий и пронзительный, закричала неожиданно:

– На погрузку, бабы! На погрузку!

Контора быстро опустела, напоследок кто-то крикнул:

– Вот и Зинка жениха нашла!

А Пряхин и Зинаида, напряженно вглядываясь друг в друга, словно пытались в изменившихся, постаревших лицах узнать свое прошлое и не находили, нет, не находили ничего такого, что могло бы напомнить им хорошее и дорогое.

– Ты как тут? – спросил Алексей.

Вместо ответа Зинаида сказала:

– Петро убили.

Алексей покачал головой. Значит, так. Значит, Петро убили.

Он попробовал вызвать в себе злорадство: вот Петро убили, а он жив, прогадала ты, Зинаида, но, кроме этой сухой, не облаченной чувством мысли, ничего вызвать в себе не мог.

– А ты? – спросила Зинаида.

– Ранило. Тут в госпитале лежал, – ответил он.

– Почему не в Москве?

Вот он, этот вопрос, самый злой и самый больной вопрос, какой только могла задать Зинаида, не зная, не ведая, какая в нем для Пряхина таится боль. Вчера, надо же, только вчера он думал о второй попытке, о втором заходе, и все ему казалось правильным, возможным, во всяком случае, вероятным, и он был полон надежд. А сегодня?..

Впрочем, а что сегодня? Ну, встретил он Зинаиду. Невероятно, неправдоподобно, но встретил; жизнь, значит, может подстроить и такую ловушку. Что и говорить, неприятна эта встреча, безрадостна, но в общем-то ничего особенного. Встретил Зинаиду, ну и ладно. Давно он эту Зинаиду вышвырнул из сердца. Вон даже не узнал сразу. Да и теперь вглядывается в нее, и ничто его не тревожит, ни на чуточку даже, хоть и вспоминал он ее вчера, перед сном совсем по-другому.

Ничего не осталось от прежней Зинаиды. Голос сиплый, чужой. Лицо обветренное, незнакомое. Даже губы и те иные – ссохлись, тоньше стали. Просто знакомую встретил, вот и все. Потому он и не в Москве, а тут. Все начинается сначала.

Не-ет! Не так просто сбить его с пути, да еще с такого, какой он прополз. Довоенная комната, Зинаида со своим Петром, Иван Федорович с «эмкой», фронтовой зимник, госпиталь, боль без дня и без ночи – как непрерывающееся, слепящее северное сияние.

Слишком густо он хлебнул, и слишком мало корней у него в этой жизни, чтобы отказался он от своей идеи, от второй попытки, от надежды, что и в сорок лет можно жизнь начать, встретить в ней доброго человека, зажить покойно и радостно, чтобы круг свой, отпущенный

природой, очертить как надо – с любовью, с продолжением своим, детьми, с мыслью, что прожил ты не напрасно.

Так что Алексей сжал губы и ответил Зинаиде сухо:

– Временно.

Он шагнул к двери, мельком обернулся, охватив взглядом всю фигуру Зинаиды – сжавшуюся, усохшую старуху, – и переступил порог.

– Вот едрит-твой! – прошептал он себе, ощутив какую-то опустошенность.

Точно кто-то подслушал его мысли, подкрался сзади на цыпочках и дышит тяжело в затылок.

Не кто-то, не кто-то... Зинаида!

Отчаянно сопротивляясь этому, Алексей чувствовал, как легкость, с которой он жил неделю, куда-то уходит, точно вытекает из него, а взамен наваливается тяжесть. Будто шептала ему Зинаида из-за спины: «А вот и я, вот и я». Алексей махнул рукой и двинулся к гаражу: «Да что я, не сам себе хозяин? Или дитя малое?!» А вслух повторил, качнув головой:

– Вот едрит-твой!

По утрам натошак Алексей пил отвар то из сырой пшеницы, то из проросшего овса, ел пайку хлеба, иногда смазанного непонятным жирком, похожим скорее на вазелин, и шел через весь город на работу.

Стояла затяжная осень, мороз все никак не прихватывал землю, и она расплзлась, разведенная нудными дождями, превратилась в жидкую кашу, по которой не только пешком двигаться было трудно и склизко, но и на машине, потому что по глинистой грязи слабосильная газогенераторка вихляла и застревала в первой колдобине.

За день Алексей укатывался так, что, возвращаясь, раз-другой непременно падал – ноги едва держали его, – и являлся к тете Груне грязнущий, как сам черт. Слава богу, хоть старуха задерживалась в госпитале допоздна, и Пряхин успевал помыться, замыть шинель и даже подсушить ее.

Каждое утро начиналось с чистки топки, разжигания круглой печки за спиной кабины, и во время езды требовалось не забывать о дровах и воде, часто останавливаться, да тут еще эта грязь...

Пряхин возил снаряды в ящиках с завода на товарную станцию, весь транспорт грузили и разгружали женщины, но рук не хватало, и им помогали ездовые. Кроме Алексея.

Сердце его заходило, когда он видел согбенные фигуры, которые молча, безропотно передвигаются в сером рассвете. Ему было совестно говорить с возчиками, и он старался обходить их. В самом деле, о чем говорить? Посочувствовать – как тут не посочувствуешь, того и гляди вырвется жалостное слово, а чем кончится? Пошлют куда подальше, хоть и раненый фронтовик. Что толку от пустого сочувствия, коли помочь не можешь, коли самому тебе, не вполне полноценному мужику, помогают? Нет, Алексей обходил возниц, а когда те собирались в кружок покурить и поговорить, слушал их незлую ругань уже без досады и непонимания.

Присев на ступеньку своей машины, он думал частенько о будущем этих женщин. Ведь кончится же когда-то эта война, и все устроится, может быть, у этих баб, и забудут они табак и матершину, и приступят к самому главному делу в своей жизни – к любви и продолжению потомства, так вот получится ли у них это непростое дело – продолжение потомства после того, как тонны, да что тонны – тысячи тонн снарядов перетягают они на себе, на своей бабьей плоти за эту войну?

Однажды, подумав об этом, он плюнул в грязь, втоптал плевком каблуком, подошел к возчикам, не вступая с переговорами с ними, схватил ящик, поднял его на спину, но до машины едва дотащил.

Он слышал, как громко хрустнуло что-то в животе, острая боль расколола тело. Он едва добрался до подножки своей полуторки, лег на нее, поджав к животу ноги, и едва отдышался.

– Ты как сухая папироска, – обидела его какая-то баба. – Сгорел быстро, а дыму мало.

Какая уж папироска! Неизвестно, что он теперь такое, непонятно, на что пригоден. Слава богу, хоть машину вести может.

В тот день его без конца вбивало в пот, горизонт расплывался. Он притормаживал машину, переводил дыхание, двигался дальше, а на заводе и на станции удивленно разглядывал женщин: сколько же у них жил – и волокут, как волы, тяжеленные ящики, и волокут без пisku и стону – молча, сгибаясь только сильнее, когда уж совсем, видать, немоготу станет.

Бывало, транспортный цех – целиком или частично – бросали на другие перевозки. Случилось, Пряхин повез работниц в подсобное хозяйство – зима хоть и задерживалась, а картошку убрать не успевали.

Обратно Алексей мчал порожняком. Газогенераторка разбрызгивала грязь, шлепала, как старуха, по лужам, и слово «мчал» к этой утлой полуторке, конечно, никак не подходило. Да еще Алексей остановился несколько раз, чтобы подкочегарить свою топку, подбросить чурбачков. Особенно тяжело давались машине подъемы, мотор верещал, весь корпус вибрировал, да еще скользили, проворачиваясь колеса, и Пряхин каждый раз, взобравшись на горку, утирал рукавом пот со лба – столько переживаний выжимала из него его дохлая машинешка.

Взяв самый протяжный и крутой подъем, он увидел впереди телегу, развернутую как-то боком. Лошадь лежала, а рядом с ней прямо на земле сидел возница.

Алексей остановился, выпрыгнул в грязь, подошел к вознице и потянул его за рукав, поднимая. Из-под капюшона брезентового плаща к нему повернулось худое лицо, и Алексей невольно передернулся: опять Зинаида! Ее била крупная дрожь, губы посинели, сквозь драные перчатки проглядывали закостеневшие пальцы.

Лошадь околела прямо в упряжи, и огромный мутный глаз ее равнодушно взирал на низкие облака. Телега была нагружена мешками с картошкой, видно, Зинаиду тоже посылали в подсобное хозяйство.

Пряхин откинул борт своей машины, подошел к телеге, взвалил на плечо мешок, распрямился, прислушиваясь к тому, как напряглось у него что-то в животе. Осторожно переступая, он свалил мешок в кузов.

Сперва Зинаида стояла безучастная, прислонившись спиной к черному баллону газогенераторной установки, но, заметив, как пару раз тяжелый мешок качнул Алексея, стала помогать ему.

Пряхину было трудно. Не остро, как в прошлый раз, а постепенно, точно разгоняясь, боль нарастала в животе тугим, горячим клубком. Он останавливался на минуту, ждал, когда клубок чуточку поостынет, но Зинаида, словно заведенная, волокла мешок за мешком – маленькая, хрупкая, готовая вот-вот сломаться, и Алексей принуждал себя разогнуться и снова взваливать на плечо мешок.

Когда картошку перегрузили, Пряхин распряг мертвую лошадь, прицепил телегу к машине.

Медленно, чтобы телега сзади не перевернулась, он поехал к заводу.

В кабине Зинаида вроде немного отошла, дрожь перестала бить ее, она потно покраснелась, размотала платок, из-под него вылились волосы, единственное знакомое в ней, – русая волнистая река.

Не говоря ни слова, она принялась расчесывать, а потом укладывать их. Краешком глаза Алексей видел эти волны, чувствовал забытый запах, идущий от них.

Он отворачивался налево, вдумчиво вглядывался вперед, стараясь отвлечься от навязчиво-знакового запаха.

Молча они доехали до завода, у столовой грузчицы сняли мешки с кузова, потом появилась Сахно, устроилась в кабине между Алексеем и Зинаидой, они задымили в две сигарки махрой, и Пряхин повел машину обратно.

Мертвую лошадь полагалось свезти, кажется, на свалку, но втроем поднять им ее было невозможно, и Сахно принялась составлять акт. Неудобно склонившись к рулю, начальница царапала карандашом бумагу, спрашивая у Зинаиды кличку лошади, обстоятельства и время ее гибели. Потом вынула из кармана перочинный ножик, подобралась к лошадиному уху и деловито резанула его.

Алексей вздрогнул, Зинаида отвернулась, а Сахно показала им дюралевый кругляш с номером – бирку, которую надлежало приложить к акту.

Молча они вернулись на завод – лошади часто дохли прямо на ходу, от старости и износу, на их место призывали из деревень новых, помоложе, и все шло своим чередом, так что никто особенно не волновался.

Выбираясь из машины, Сахно попросила Алексея остаться еще на одну смену: сломались две газогенераторки, да несколько подвод, посланных в подсобное хозяйство, еще не вернулись.

Зинаида была все такая же потная, щеки ее покрылись густым румянцем, и, пристально взглянув на нее, начальница кивнула.

– А пока отвези ее домой. Да и сам часок отдохни.

Машина катила по городу, расшлепывала грязь. Зинаида молчала, притянувшись в угол кабины, и Пряхин подумал, что она уснула. Поэтому, когда она заговорила, даже вздрогнул от неожиданности.

– Давай все сначала, – сказала Зинаида хрипло.

Алексей взглянул в угол и увидел горячечно блестящие глаза. «Видать, простыла», – отметил он про себя, не придавая значения ее словам.

– Ну давай все сначала, – проговорила хрипло Зинаида. – Давай уедем в Москву. На черта все это надо!

Алексей ухмыльнулся. «Все сначала». Как и он. Только он хочет начать все сначала здесь, вычеркнув Москву из памяти, а она – вернувшись в Москву.

Пряхин почувствовал, как Зинаида вцепилась ему в рукав шинели, и нерешительно попробовал освободиться. Но Зинаида держалась крепко.

– Понимаешь, – говорила она лихорадочно, приблизившись к его лицу, – я от тебя ушла, но меня ведь судьба наказала, Петра убили. Так что меня можно простить, верно? Извинить. Ведь так? Должны же люди прощать друг друга? А я тебе ножки стану мыть! Верной до гроба буду – только поверь. А здесь мы оба подохнем, понимаешь? Надорвемся и подохнем, как эта лошадь. Надо жить, Алеша! Понимаешь, надо жить!

Тупая и тяжелая боль наполнила живот Алексея. Он вновь дернул рукой, желая освободиться, и снова Зинаида не отпустила его.

Алексей как бы пропустил мимо ее слова. Вся его жизнь казалась ему решенной и понятной. У него есть смысл. Он знает, как жить. А эта Зинаида его не касается. Лопочет что-то. Простыла, видать, окоченела, бедняга.

Пряхин больше не дергал рукой, не пытался вырвать рукав из Зинаидины пальцев – он хотел только быстрее добраться до ее квартиры, высадить бывшую жену, а потом поскорей очутиться дома, выпить стакан тети Груниного отвара, полежать часок, подобрав колени к животу, – в таком положении боль отступает быстрее, – а потом ехать на работу. Чтобы стало полегче, он склонился к рулю, почти лег на него.

Зинаида замолчала, но Алексей ощущал ее взгляд на своем виске. «Неладно, видать, с ней, – думал он. – Потеряла своего Петра, никак опаматоваться не может, вот и несет чепуху... А может, и впрямь надеется, жалеет, что ушла».

Только это его не касалось, никаким боком не задевало.

Он негромко, чтоб не сбить наступившую тишину, спрашивал Зинаиду, где повернуть, как ехать дальше, у которого дома затормозить, и они остановились перед барачком.

– Идем, – повелительно сказала Зинаида, и Алексей непонимающе взглянул на нее.

– Вытряхивайся, – ответил он, прислушиваясь к звону каких-то колокольчиков. Что-то зашекотало его по лбу, он провел тыльной стороной ладони и удивленно оглядел ее: рука была мокрой.

– На тебе лица нет, – сказала Зинаида. – Пойдем, отдышишься, еще целая смена.

Алексей распрямился, но его куда-то повело, а вспомнил он себя снова уже в барачном коридоре, слева, под рукой, Зинаида, подпирает своими плечами. Брякнул о железо ключ, скрипнула петля на двери. Зинаида растегнула крючки на шинели, подвела к кровати.

Он забылся снова, будто исчез с этой земли, но тотчас вернулся, и блюдечко с горячим чаем вздрагивало перед ним. Алексей хлебнул, хмарь отступила, все стало на свои места: узкая, как щель, комнатенка, фанерный шкаф в углу, Зинаида с распущенными волосами, протягивающая, точно маленькому, блюдечко с чаем.

Пряхин дернулся, стараясь встать, но лицо Зинаиды приблизилось, холодные руки взяли его за виски, поглаживая, убаюкивая, и он задохнулся от ее поцелуя. Зинаида целовала его как-то неумело, словно разучилась или не умела никогда, а в нем все обрывалось внутри, все рушилось. В смятении, еще как следует не выбравшись из забытья, Алексей рухнул в новое забытие, только здешнее, земное, с громом сердца, с тем, что принадлежало ему когда-то, но давным-давно забыто и поэтому вряд ли реально.

Да, вряд ли реально, потому что забытое стремительно кончилось, и, отряхиваясь от бреда, кляня себя за случившееся, он понял, что невозвратное невозвратно и что Зинаида вот таким унижительным способом просила его забыть о прошлом, просила прощения, то есть просила невозможного, значит, нереального.

Его прошиб пот.

Бывает, мужчина пользуется слабостью женщины, а вот с ним вышло наоборот. Зинаида воспользовалась его слабостью, но и он не безгрешен, не без сознания же, черт возьми, был он с Зинаидой, не в бреду, так что нечего клясть ее, надо в ней разобраться.

Но как же? Какое прощение, при чем тут прощение, если у него своя жизнь, а у нее своя, какое прощение, если все, что было между ними, давно забыто, вычеркнуто из их памяти – и его и ее?

Но, может, дело не в том? Просто она боится одиночества.

А он?

Ведь он тоже боится этого одиночества... Нет, не так. Он много лет жил один, был совсем одинок. Он привык к одиночеству, но после этого ранения не хочет возвращаться в свое одиночество. Хочет избавиться от него.

Он хочет избавиться от одиночества, а она боится остаться одна. Не все ли одно, в сущности?

Старые жернова, давно не моловшие зерна ненависти, заворочались внутри Пряхина. Он вспомнил тот день – нарядный, солнечный, летний, комнату, залитую светом и предназначенную для счастья, и стол с тремя рюмками – для него, для Зинаиды и для неизвестно откуда взявшегося Петра.

Его захлестнула ненависть, – сильная, обновленная, будто все то было вчера, а не много лет назад.

– Зачем тебе это? – спросил он Зинаиду.

Плечи ее вздрагивали. Она плакала. И плечи снова покрылись гусиной кожей.

Он натянул на нее одеяло. Вид этих пупырышек, этой гусиной кожи вызвал в нем досаду. Все было так глупо... Бедная Зинка... Она мерила только свое отчаяние, не желая считаться с Алексеем. Она думала, что может заставить его... Чего заставить?

Ах, Зинка, круглоглазая, глупая, забывшая, что время и поступки навеки разделяют людей. Но ведь той Зинки нет. Даже той-то, виноватой, нет. Есть чужая женщина, посторонняя и далекая, полагающая по ошибке, что у нее есть права на Алексея Пряхина.

Когда Алексей вышел на улицу, погода резко изменилась. Небо прояснилось, ярко горела лампа круглой луны, и это сходство с лампой довершал ровный белесый круг, четко, словно циркулем, прочерченный вокруг нее.

Воздух казался отлитым из стекла, он звенел, далеко передавая городские звуки: свист маневровой «кукушки» на станции, мальчишеский выкрик во дворе, глухой кашель прохожего, храп усталой лошади.

Чурбачки в газогенераторной колонке прогорели, едва теплились красными угольками, и Пряхину пришлось ждать, пока новая порция топлива как следует разгорячит двигатель.

Едва тронувшись, Алексей сразу понял, что переменившаяся погода не только высветлила небо и очистила воздух. Легкий морозец сковал грязь, покрыв лужи пока еще тонкой коркой льда. Опытный водитель, он знал, что это гололед, и вел машину осторожно.

Всю ночь его машина, похожая скорее на паровоз, ползала по притихшим городским улицам, высвечивая фарами путь, встречая такие же газогенераторки и подводы, на которых сидели возчицы, и женщины, сидевшие за рулем машины или на краю телеги, находили силы кивнуть ему, махнуть рукой, и Алексей кивал им в ответ, всякий раз прибавляя до возможного предела скорость. Вид этих женщин, усталых и похожих от усталости одна на другую, пожалуй, даже неотличимых друг от друга, вызывал в нем угрызения совести.

Вот они кажутся ему все на одно лицо – это просто оттого, что он еще не всех хорошо знает, – а ведь у каждой своя жизнь, своя судьба, каждая ждет кого-то с фронта, а может, и не ждет уж, но каждая молча тащит свою лямку, покорно, не ропща, прикрывая грубой бранью боль и страдание. Сколько же терпения в них, этих грубоватых бабах, и у каждой боль своя, у каждой своя беда и печаль.

Он попробовал представить первую же встречную возницу в нарядном платье, в туфлях на каблучках и в тонких чулках; он силился вообразить это, не отрывая взгляда от согбенной фигуры на тележном передке – в замурзанной телогрейке и черном, укрывшем лоб платке, – но ничего у него не вышло: телега с возницей проплыла мимо, и женщина махнула ему рукой, небрежно, по принятой привычке, словно отгоняла комара.

Нет, не выходило у него волшебства, не мог он даже представить их, своих знакомых по транспортному цеху, в ином, обаятельном, гожем для женщины виде – даже представить себе не мог.

Телеги и машины двигались навстречу, а Пряхин двигался навстречу им, зная, что он тоже в этой непрерывной цепочке, что он часть колеса, которое медленно кружится по городу, доставляя на станцию тяжелые ящики, до изнеможения оттянувшие руки, а потом вертится дальше, назад, за новой порцией, и так круглые сутки, ночью и днем.

Под утро мороз окреп и гололед усилился. Лошади выбивались из сил, падали, а главным, кто раскатывал дорогу, были все же машины, и Сахно объявила по цепочке, чтобы водители выбрали себе другой маршрут, оставив старый только лошадям.

Легко сказать – другой путь. Все дороги превратились в каток, езда стала сплошным мучением. Но шоферы поторапливались. Брезжил рассвет, скоро на улицах появятся пешеходы, и тогда езда станет совсем опасной.

Рассветало. Несколько раз Пряхин ловил себя на том, что засыпает.

Он останавливался, бегом огибал машину, приседал, подпрыгивал, глубоко дышал, чтобы сбить с себя сонливость, и на полчаса этой зарядки хватало.

В синем рассвете неожиданно повалил густой снег, дунул ветер, ехать стало совсем опасно: снег коварно скрывал лед.

Сгрузив очередную партию ящиков, Пряхин твердо решил, вернувшись на завод, пойти к Сахно и потребовать хотя бы цепи для колес, хотя цепи больше подходили для рыхлой глубокой колеи, а в гололед помогали хуже.

Он ехал, напряженно тараща глаза, снова чувствовал, что его тянет в сон. На краю пологой горы Алексей мотнул головой, стряхивая сонливость, и остановился, осматривая спуск, – это был опасный и скользкий участок. С правой стороны, тоже на взгорке, дымил хлебозавод, так что внизу как бы была небольшая котловина, куда сходились две наклонные дороги – крутая улица, по которой ехал Алексей, и пологий спуск от хлебозавода.

Алексей глянул на заводскую горку – там было пусто. Он осторожно стронул машину вниз.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.